

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ЭПОХАХ

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ЯНКА БРЫЛЬ
ВЛАДИМИР КОЛЕСНИК



ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Я ИЗ ОГНЕННОЙ ДЕРЕВНИ

История в лицах и эпохах

Алесь Адамович

Я из огненной деревни

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1991

УДК 821.161.1-94(476)
ББК 84(4Бел)я43

Адамович А. М.

Я из огненной деревни / А. М. Адамович — «ФТМ»,
«Издательство АСТ», 1991 — (История в лицах и эпохах)

ISBN 978-5-17-146384-7

«Я из огненной деревни» – документальный сборник воспоминаний про уничтожение фашистами белорусских деревень и о партизанах во время Великой Отечественной войны, собранный и составленный белорусскими писателями Алесем Адамовичем, Владимиром Колесником и Янкой Брылем. В книгу вошли свидетельства только тех людей, которые лично пережили трагедию сожженных деревень, убийства родных и односельчан. Для опроса очевидцев писатели на протяжении 1970–1973 годов объездили с магнитофоном 147 деревень в 35 районах Белоруссии и записали воспоминания более 300 непосредственных участников событий. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-94(476)
ББК 84(4Бел)я43

ISBN 978-5-17-146384-7

© Адамович А. М., 1991
© ФТМ, 1991
© Издательство АСТ, 1991

Содержание

Сергей Шапран. Они были первыми	6
Алесь Адамович. Из предисловия к книгам «Я из огненной деревни» и «Блокадная книга». Москва, 1991 год, с сокращением	12
Я из огненной деревни	14
Барбарка	16
Мать и сын. Сын и мать	21
Горит район	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Алесь Адамович, Владимир
Колесник, Янка Брыль
Я из огненной деревни**

© Авторы, наследники, 2022

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Сергей Шапран. Они были первыми

Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как белорусские писатели Алесь Адамович, Янка Брыль и Владимир Колесник закончили работу над книгой-документом «Я из огненной деревни...» (в оригинале – «Я з вогненнай вёскі...»), где были приведены, как говорилось в аннотации, «свидетельства уцелевших жителей из сотен белорусских деревень, сожжённых фашистами вместе с людьми». Впрочем, еще в ходе работы над авторами не раз нависал Дамоклов меч цензуры, едва не похоронивший книгу...

Идея этой книги родилась у Алеся Адамовича в конце 1960-х годов. Толчком послужила работа над короткометражным документальным фильмом Игоря Коловского «Хатынь, 5 км» (снятом в 1968-м и запрещённом на двадцать лет после первого же просмотра), а затем и над «Хатынской повестью». Известный белорусский литературовед Михась Тычина отмечал: хотя повесть имела хорошую прессу, однако Адамович жил с ощущением «литературного поражения». Сам он говорил: «Выявил, поднял, показал одну только крупницу правды, каплю с того, что увидел, понял, а бездонный океан народной, огненной, хатынской памяти остался, там же, неслышимый, невидимый миру».

Так пришла мысль о документальной книге.

Никакой художественный вымысел не сравнится с правдой жизни, тем более, если реальность сурова и кровава. Свидетельства спасшихся жителей сожжённых деревень звучали откровением. Но голос простого человека – почти всегда откровение. Художественной литературой он – хор простых человеческих голосов – ещё почти не был освоен, во всяком случае так, как это будет сделано в книге «Я из огненной деревни...», а затем в «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина и спустя годы в цикле Светланы Алексиевич «Голоса утопии».

Адамович не один год будет собирать документальные свидетельства, а уже потом, в процессе работы над книгой, засвидетельствует в дневнике: «Возможно, действительно кто-то должен это сделать, записать, через себя пропустить всё это к людям... Чем станешь, что будет с тобой потом, если всё это откладывается? И станет твоей собственной памятью. Смотреть на мир через это придётся уже до конца дней своих. И пробовать смотреть на человека, как все. А сможешь ли? Рядом всегда будет то, что отложилось. Сегодня впервые стало страшновато, что не выдержишь до конца».

...1971 год. Алесь Адамович, Янка Брыль и Владимир Колесник уже вовсю колесят по Беларуси, разыскивая тех, кто уцелел в пожарищах войны. Иван Антонович Брыль вспоминал:

– Сначала наша работа напоминала, если можно так сказать, эдакую самостоятельность, поскольку своего магнитофона у нас не было – мы его одалживали. В 1970 году была «Весна», а позже нас надоумили одолжить репортёрский магнитофон в Радиокomiteте. Там же покупали плёнку. Правда, завхоз Радиокomiteта постоянно подсовывал нам «бэушную» плёнку. Она, уже записанная, хранилась потом там же, в Радиокomiteте, но числилась не за нами, а за заведующим отделом комитета поэтом Малявкой – будто бы это его были записи, а не наши. Мы ведь поначалу работали по существу тайно. Это позже нам стал помогать один из заместителей председателя Радиокomiteта Михаил Андреевич Суша, благородный, надо заметить, человек. А уже в 1973 году, когда работали в последней, в Минской области, подключился и секретарь ЦК КПБ по идеологии Александр Кузьмин, интересный тоже был человек – он и с Адамовичем дружил, и ко мне хорошо относился. Именно Кузьмин отдал поручение всю нашу «бэу» плёнку – а мы записали 72 километра! – переписать в двух экземплярах уже на хорошую плёнку с тем, чтобы навсегда сохранить эти свидетельства.

В двух экземплярах были сданы в рукописный архив библиотеки Академии наук и фотографии Владимира Колесника. Туда же передали карту, на которой в течение четырёх лет отмечали маршрут экспедиции. Отдали на хранение и черновики, точнее сказать – машинописный вариант, поскольку собственно черновик авторы торжественно сожгли, чтобы никто никогда не узнал, кто из троих что именно написал.

– Это сугубо наше дело, – говорил мне Янка Брыль. – Что ж тут делить? Теперь только я один наверняка знаю, кто что написал. А если кто хочет, пусть догадывается...

Однако редактор книги Василь Сёмуха, не зная в точности, кто над какой главой работал, имел своё мнение относительно авторства:

– В аналитическом разделе про фашизм явно чувствуется рука Адамовича – она ощущается в каждой строчке. Адамович в большей степени публицист. Но когда идут небольшие комментарии, тут уж разгадать, где Колесник, где Брыль, а где Адамович, очень тяжело. Однако во вступлениях к рассказам Брыль узнаётся легко, поскольку так писать он умел, умеет и будет уметь писать! Но они так и не выдали, кто что конкретно написал. Более того: один писал, а другой читал и правил, и – наоборот. Поэтому, я бы сказал, здесь один автор в трёх лицах. Плюс четвёртый – это каждый рассказчик.

Василь Сергеевич сам настоял на том, чтобы редактором был он. Хотя одному Богу было известно, чего это ему стоило, поскольку судьба Василя Сёмухи была подобна судьбе героев книги: в 1942 году фашисты расстреляли его родителей, а хутор, на котором жила семья, сожгли...

– Едва узнал о рукописи, сразу прочитал её и понял, что редактировать должен я, – рассказывал мне Василь Сергеевич. – Правда, не помню, кому именно из троих авторов сказал об этом. Но когда они пришли, первым заговорил Иван Антонович Брыль, очень деликатный человек. Немного помявшись, он сказал:

– Вася, может, не надо Вам редактировать эту книгу?

– Почему, Иван Антонович?

– Я понимаю, что Вам будет очень больно это делать.

– Да, больно. Но я считаю прямой своей обязанностью от этого не уклоняться и делать то, что и вы делали.

Я ведь сам из точно такой же огненной деревни, один остался в живых...

Над книгой я работал очень кропотливо. Там же было три автора, поэтому у одного одна запись, у другого – другая, у третьего – третья. Они кого-то цитируют, а цитата не совпадает! В общем, постоянная неразбериха. Она возникала, в частности, тогда, когда записи вёл Адамович. Брыль даже смеялся по этому поводу: «Мы приходим, Адамович спрашивает: «Ну, как Вас зовут?» – «Анна Михайловна». – «Так мы, Ольга Максимовна, хотели у Вас спросить...»

Кроме того, существовала иная проблема. Люди же говорили на своих диалектах, а авторы нередко «переводили» эти рассказы на литературный язык. Но не всегда так следовало поступать. Пусть люди говорят так, как говорят. Ведь как, например, передать говор полешуков?..

Впрочем, всех троих беспокоило прежде всего то, чтобы работа над книгой не слишком ранила редактора. Ведь узнавать сцены из своей жизни, заново их переживать, было, конечно, тяжело. Но только одно то, что я должен был выполнить эту работу, и принуждало меня... нет, не принуждало – я считал это своей обязанностью.

Правда, с публикацией книги сразу возникли проблемы: печатать её отказался «толстый» литературный журнал «Полымя» («Пламя»), но зато принял к публикации молодёжный жур-

нал «Маладосць» («Молодость»), возглавлял который известный поэт Геннадий Буравкин. Впоследствии он вспоминал:

– В журнале «Полымя» книгу не просто не приняли, а не приняли по политическим мотивам. И те, кто меня об этом предупредил, думали, что я испугаюсь и так же, как говорят, брошусь в кусты. Но меня это не напугало. Единственное, что, конечно, добавило хлопот, поскольку придирались к каждой странице, к каждому факту и эпизоду. И всё-таки и я, и Вячеслав Адамчик, как заместитель, и остальные в редакции – мы были убеждены, что книгу необходимо печатать. И хотя в ЦК КПБ упорно боролись «против», мы упорно сражались «за»...

Что же касается выхода уже отдельной книгой, то и тут поначалу, мягко говоря, не заладилось, поскольку у председателя Государственного комитета Совета министров БССР по печати, полиграфии и книжной торговле Михаила Дельца было ни много, ни мало, а 96 замечаний, и одно абсурднее другого.

– Ваши герои – бедные люди, неряшливые, небритые, – то была первая претензия.

– Приходим мы к человеку, он не брит, и мы должны ему предложить: иди побрейся, а потом уже будешь рассказывать, как в огне горел? – спрашивал Адамович. – Или ещё подсказать, чтобы фрак надел? А если люди бедные, нам что, подождать, пока они разбогатеют?

Книгу спас секретарь ЦК КПБ по идеологии Александр Кузьмин, в прошлом отважный военный лётчик, с уважением относившийся к белорусским писателям. Он был предупрежден о том, что авторам «Огненной деревни» назначена аудиенция у председателя Комитета по печати и как раз в это время и позвонил Михаилу Дельцу. В результате из 96-и замечаний остались лишь два.

– А где ещё 94? – сыронизировал Адамович.

– Ай, ну что вы! – отмахнулся Делец.

Но была середина 1970-х, и авторы сами прекрасно понимали, что может не пропустить Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств СССР), эдакая Мекка советской цензуры. Василь Сёмуха вспоминал:

– Авторы говорили мне, что люди рассказывали им всю правду и про фашистов, и про партизан. Но всю её цензура не пропустила бы. Я, например, только теперь читаю в прессе, как, например, советские партизаны воевали с польскими партизанами, как советские партизаны расстреливали в деревнях простых людей, отбирали еду. Это ж проблема была! Я сам в войну жил в деревне, и мы боялись некоторых партизан не меньше, чем немцев: эти шастали каждый день, и всех мы знали в лицо, а партизаны придут и отберут, потом придут немцы и скажут: «Ты отдал партизанам!» – и тут же к стенке поставят...

Действительно, один из авторов, Янка Брыль, рассказывал позже, что именно они были вынуждены изъять из книги по соображениям цензуры:

«Из полесской деревни Хвойня в канун весны сорок второго молодая женщина, беременная первым ребенком, раненая, с ожогами, полученными в огне своей же хаты, километрами морозно-снежного бездорожья несла на себе измученного гранатой мужа. Потом немного подвезла его на партизанских санях, а после, перевязанного партизанским лекарем, тащила полем да лесом на саночках. И всё убегая, прячась от карателей, больная, голодная, измученная жаждой, в страхе за себя, за мужа, за ту потаённую жизнь, которую несла под сердцем неведомо куда...

И горше всего она, Ольга Минич, расплакалась, когда подошла к своей исповеди о встрече с группой партизан. Она уже была одна, потому что совсем неожиданно столкнулась с немцами и, охваченная ужасом, не в силах была убежать со своими санками с железнодорож-

ной насыпи в лес, потеряла мужа, а сама, раненная снова, вдогонку, ещё раз встретила своих, ещё раз спасение. И тут...

Тут она зарыдала в чистенькое, вышитое по краям полотенце, а потом, вытерев лицо, такая не старая, быстрая в свои пятьдесят лет, взорвалась беспомощным проклятием. Назвала фамилию командира той партизанской группы – Чирлин. Не только помнится ей, та фамилия, – она её видела под портретом в районном музее народной славы. А он же, этот командир, хотел её тогда добить. Не из винтовки, звук выстрела могут услышать враги, а заколоть кинжалом – как шпионку!.. Ни раны её, ни страдания, ни плач – ничто не рассеивало его подозрений. Другие партизаны едва его отговорили.

В нашей книге от этого места в её рассказе осталось две фразы:

«Всё, как было, рассказала. А командир мне не верит...».

Многогочие – будто с надеждой, что и по точкам читатель догадается.

В снятом с магнитофонной плёнки тексте для будущей книги, который мы оставили себе, женщина говорила так:

«Я его, это, честное слово, каб разыскала... Нехорошо это... Я его отблагодарила б!.. Я его разыскивала... Где-то директором винзавода работает... Ну, я уже шла в этот лес, шла, шла и нашла всех тех, Чирлина отряд тот. Всё, как было, рассказала. А потом уже и выстрел был там, где я санки оставила, где женщины у огня сидели. А потом я уже хочу идти назад, а он на меня кинулся с этим, со штыком, и говорит: «Заколоть её надо!» «Она, – говорит, – узнала, где мы, пойдёт доложить!..» Я прямо душу вынимаю, говорю – я хочу вернуться труп забрать. А как он сказал заколоть, так эти дети: «Ой, ой, ой!..» – боятся, они ж дети. Так он дал команду хлопцам двум: «Посадите её и отвезите в Затишье». Так я думаю: «Ну, тут дети боятся, как бы не убили, так они меня посадят, отвезут в лес и убьют...» Да уже села и думаю: «А Господи, скорей бы это уже!» Да не угадала. Привезли они меня в Затишье, скинули на селе. Я зашла в несколько хат...»

Такое через цензуру в то время, в середине семидесятых, пройти не могло.

Спустя год после встречи в Хвойне, уже на Витебщине, были другие похожие слёзы. Только потише, с испуганной предосторожностью, из глаз женщины беспомощно старенькой, бывшей сельской учительницы. Впрочем, и предосторожности особой у неё не было. То ли она к нам прониклась доверием, то ли ей было уже всё равно, остерегаться или не остерегаться, и она рассказала.

Не помню уже и района, не только деревни, где это в тот предвечерний час было, не помню и фамилии старухи, – в памяти только тот тихий плач, тот рассказ, как их деревню, их людей расстреливали и жгли – **свои...**

Какой-то отряд приказал им накануне выбраться в лес, потому что ночью или на рассвете, мол, явятся каратели и всех перебьют. Люди не послушались: «Ну, куда ж это зимой выбираться, куда идти с малыми да старыми из родных мест? Что уж Бог даст...». Немцы тогда не пришли. Назавтра пришли свои, те самые. Восемьдесят человек было убито, деревня сожжена...

Женщине этой, тоже чудом, как некоторым в других огненных деревнях от врага, тут от своих удалось спастись. Прижилась потом в другой деревне, где мы её и записывали. Она и фамилию командира над теми, что их карали, назвала, и мы её, ту фамилию, потом прочитали под портретом в областном музее.

А запись рассказа в гостинице, посоветовавшись, стёрли с магнитофонной ленты в тот самый вечер, как услышали его.

Теперь так часто слышится, читается о страхе, которым основательно и надолго, а то и навсегда заражены современники Сталина. Тиран умер, а страх остался, точно подновившись...

И в нас, трёх партизанах, и, кажется, не слишком трусливых литераторах, – тоже. И страх ли это, обыкновенный, животный страх за самого себя, или «мудро-тактическая осторожность», озабоченность успехом, судьбой дела, которое ты делаешь и хочешь сделать? Книгу свою мы хотели сделать, мы уже были одержимы ею, уже собрали половину необходимого материала, работали в четвёртой из шести областей республики, и не были безразличны к судьбе будущей книги, которую считали нужной.

Куда было с этой необычной записью деваться? Не только не напечатаешь её, но и снимать с ленты, переписывать с одолженного в Радиокомитете репортёрского магнитофона на большие бобины, для хранения, диктовать машинистке для публикации – всё на людях, всё опасно...»

Изначально писал всё это Янка Брыль, что называется, в стол, поскольку шёл 1988 год. Как вдруг через год – звонок от Адамовича – он спрашивал, не помнит ли Брыль фамилию учительницы с Витебщины и того командира, что расправился со своими. (В 1992 году Алесь Адамович описал это, используя реальную фамилию командира партизанского отряда – Ваграм Калайджан, в повести «Венера, или Как я был крепостником».) Дело в том, что авторы «Огненной деревни» следующим образом делили обязанности: Адамович управлялся с магнитофоном, Колесник – с фотоаппаратом, у Брыля был блокнот. И вот Иван Антонович в своём блокноте за июнь 1972 года нашёл такую помету: рассказывала учительница Вера Петровна Слобода, что из деревни Дубровы возле Освеи. Оказалось, что командиров она назвала двоих: Калайджана и Блинова. Оба значатся в книге «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны»: Калайджан Ваграм Погосович и... с Блиновым оказалось сложнее – Блиновых было трое. Скорее всего, речь шла о Блинове Дмитрие Кузьмиче. Брыль пытался навести справки в архиве Музея истории Великой Отечественной войны.

«Когда я назвал, прежде всего, фамилию Калайджана, доброжелательно-старательная сотрудница сказала, что этим человеком год или полтора назад «снова интересовались», – вспоминал Иван Антонович. – В картотеке на его анкете значится: «Отрицательная справка тов. Захарова».

В личном архиве командира Освейской бригады имени Фрунзе героя Советского Союза Ивана Кузьмича Захарова, который умер уже давненько, среди других материалов хранится написанная им собственноручно, на двух листах справка, адресованная куда-то выше музея...

Сначала Калайджан справлялся с обязанностями хорошо, даже к награде был представлен, а потом (здесь цитирую дословно):

«Разведкой при помощи партизан были вскрыты крупные недостатки, из которых самым страшным в наших условиях были необузданные самолюбие и властолюбие...

Самолично давал распоряжения о расстрелах».

Так, по его приказу в одном из боёв кто-то не названный в справке «пристрочил» якобы «за трусость» начальника штаба отряда, потом был расстрелян начальник полиции, который перешёл к партизанам и просил отправить его на Большую землю.

«Имели место и другие факты», – пишет товарищ Захаров. Выходит на наше основное:

«Во время карательной фашистской экспедиции в марте 1943 года скрывающих(ся) 9 семей с маленькими ребятишками из дер. Дубровы в лесу под видом полицейских также по его приказу были расстреляны. (Как потом выяснилось, никакие они не полицейские, местные жители)».

Позже Калайджан (существенное уточнение: лейтенант внутренних войск) будто бы попал в штрафную роту. Блинова же комбриг Захаров не упоминал: или не имел Блинов Д. К. отношения к преступлению в Дубровах, или был какой-то иной Блинов...

Сразу после выхода книги авторы всем, с кем беседовали, – а это более трёхсот человек – разослали по экземпляру с дарственными автографами. Книга не только неоднократно переиздавалась в Беларуси, но и была переведена с белорусского на русский, украинский, чешский, английский, венгерский, польский и болгарский языки, фрагменты печатали румыны и словаки. Правда, возникли некоторые проблемы с польским изданием. Янка Брыль рассказывал:

– Ещё работая над книгой, мы предполагали – и позже наши предположения в какой-то степени оправдались, – почему в качестве символа сожжённых деревень была избрана именно Хатынь. Ведь в том же Логойском районе была, например, деревня Нивки, где людей было сожжено в несколько раз больше. Оказалось, что Хатынь была избрана в качестве своеобразного противовеса Катыни, чтобы замаячить саму катынскую историю. Хотя позже нашим властям всё-таки пришлось признаться, что не немцы, а сами же подручные Берии расстреливали в Катыни польских офицеров и унтер-офицеров. Неслучайно в нашей книге на польском языке даже фотография скульптуры старика Каминского с сыном была подписана следующим образом: «Один из памятников уничтоженным гитлеровцами жителям одной из белорусских деревень». То есть поляки даже слово «Хатынь» не стали употреблять! Конечно, нам в этом смысле пришлось пойти на кое-какие уступки, ведь не будешь же в чужом монастыре, так сказать, свои законы наводить...

Что же до ГДР (тогдашней Германской Демократической Республики), то там белорусская «Огненная деревня» не вышла. Один немец позже доверительно рассказал Ивану Антоновичу, что поинтересовался в тогда ещё гдээрзовском издательстве «Volk und Welt» («Народ и мир»), отчего, мол, не напечатаете книгу? И услышал от заведующего отделом советской литературы: «И одна граната – это страшно. А вы подсовываете нам связку гранат!»

* * *

Пройдёт время, не будет на свете уже никого из авторов «Огненной деревни», как вдруг о книге снова заговорят. Произойдёт это в 2015 году после присуждения Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе: узнав о лауреатстве, писательница первым делом благодарно вспомнит не только своих литературных учителей – Алеся Адамовича и Василя Быкова, но и книгу, которая помогла ей обрести свой путь.

– Это великая книга, – скажет Светлана Алексиевич. – И мне посчастливилось, что я встретила на своём пути Алеся Адамовича. Хотя по-прежнему нельзя было ставить знак равенства между тем, что я видела и слышала, и тем, что выходило из-под моего пера. И только когда прочитала книгу «Я из огненной деревни...», вдруг поняла, что я именно так слышу мир – через голоса. Я сразу увидела адекватное моему мироощущению. Мой дальнейший путь был уже более очевиден...

Собственно, с этого и начнётся пятикнижье «Голоса утопии», которое принесёт Светлане Алексиевич всемирную известность. Но для того, чтобы это произошло, сначала должна была появиться книга «Я из огненной деревни...» Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника. Это они были первыми.

Алесь Адамович. Из предисловия к книгам «Я из огненной деревни» и «Блокадная книга». Москва, 1991 год, с сокращением

Когда мы делали книгу о Хатынях, друзья интересовались: всё это нужно, важно, но что делать здесь писателю? Приехал, пришёл, включил магнитофон, записал... Но при чём тут писатель, художник?

Профессионализм в такой работе должен проявиться в очень жёстком, даже жестоком отношении к себе именно как к писателю. Новичку, который ещё не согнал охоту «пописать», труднее отстраниться, не вылезать вперёд со своим всезнающим и «беллетристическим» словом.

Да, когда берёшься за такую работу, надо быть готовым стушеваться со своим талантишком перед гением народа. В этом прежде всего и проявляется ваша писательская квалификация.

Но что же всё-таки за жанр – такие книги?

«Никто, – говорил К. Симонов, выступая в Минске, – не может сказать: я знаю о войне всё! Всё о войне знает народ. Так давайте записывать народ».

Репортажные жанры, записи событий «из первых уст» – это сегодня повседневное журналистское занятие.

Но бывают и могут быть репортажи с места события воистину исторического, которое действительно затронуло, затрагивает судьбы народные.

Ну, ладно, дал выговориться самой жизни, не подменяя её ни схемой, ни своим торопливым «художественным» словом.

И что дальше?

В процессе такой работы обязательно обнаружится любопытная деталь, которая, между прочим, должна малость снизить самооценку людей писательской профессии.

Вот пишут – критики, исследователи, сами писатели, – что у художника – особенная способность запоминать различные психологические состояния. Да, без такой способности трудно представить художника.

Но ведь и женщины из Хатыней помнят происходившее с ними и в них с такой остротой, точно вот сейчас, сегодня это свершается. И чем проще человек, чем бесхитростнее, тем больше помнит, всё помнит, что почувствовал, что подумал...

Но в чём же тогда преимущество писателя-профессионала? Очевидно, в большом умении сознательно отбирать из своей (и чужой – если записываешь) памяти эстетически значимое, самое полновесное.

Вот эту способность и мобилизуешь, она и есть главный инструмент на той стадии работы, когда материал уже собран и надо помочь ему найти форму, отлиться в форму, в жанр. [...]

Отыскать, нащупать в памяти человека, с которым встретился впервые, самые «вершинные» точки пережитого им, направить память человека так, чтобы рассказ его захватил именно эти «точки», о которых тебе, конечно, ничего не известно, – тут только интуиция и может помочь.

И хорошо, если поможет. [...]

Женщина в белорусских Борках рассказывала нам. Вроде мимоходом, но именно это её потрясло, запомнилось. Да и как могло не запомниться, если от слов тех ледники могут поползти на планету!...

Вспоминаете?... Женщина в Борках Кировских, поняв, что будут убивать, живьём жечь людей, сказала мальчику восьмилетнему:

«Сынок, сынок мой, зачем ты в резину эту обулся? Твои ж ножки очень долго гореть будут. В резине»...

Минувшая война помечена была множеством событий глобального значения, смысла. Но в этом множестве выстроился ряд из нескольких особенно зловещих явлений.

Это – запланированное истребление людей в деревнях, та же концлагерная «селекция», но уже вынесенная на просторы оккупированных стран («Хатыни»). Обыкновенные избы, амбары, колхозные сараи, церкви превращались в жуткие крематории.

Это – попытка удушения голодом многомиллионного города, Ленинграда.

И, наконец, – первая атомная вспышка над планетой...

Деревня и город в условиях тотально-истребительной войны, развязанной фашизмом, войн, переносимых именно на мирное население, – вот что такое наши Хатыни рядом с блокадным Ленинградом. [...]

«Вся правда» о войне, которую знает народ, не отменяет художественную литературу о войне. Но она что-то корректирует в наших произведениях. И вообще наше восприятие художественной литературы корректирует. [...]

Да простит меня литература!

К чему я это говорю? Даже если такое прочтение и ощущение, такое сравнение литературы и народной памяти и очень субъективно, даже и в этом случае трудно не прийти к очевидному: народная память, если мы её записываем и запишем со всей полнотой правды, честности, существуя в литературе как особенный жанр, вместе с тем не может не оказать влияния на всю литературу.

И именно тем, что в ней – истинная мера боли и правды, красоты и силы, нравственная мера.

1976

Всего лишь два или три года назад в разговорах с Юрием Черниченко¹ и Анатолием Стреляным² обсуждал, навязывая свой старый опыт, возможность и необходимость сделать документальную книгу о трагедии нашей деревни, крестьянства в годы коллективизации. И как это сделать, не выдавая заранее свой замысел и цель. Не верится уже, но совсем недавно надо было опасаться, что возникнут прямые помехи не только от местных властей, «органов». Этого хватало и когда мне довелось работать с Брылём, Колесником, Граниным. А уж этот «подарок» народу – коллективизацию, раскулачивание, правдивую память народную о прямо-таки космических масштабах бедствий несдающийся сталинизм уберечь будет из последних сил.

Но ушли те миллионы, кто могли бы рассказать, уходят последние...

Неужто не запишем, не сохраним? И уйдёт всё в исторический песок, как и не было ничего. Да, конечно, историки когда-нибудь своё сделают, художественная литература ещё не раз вернётся к голоду на юге страны (а ведь это шесть или восемь(!) Ленинградов блокадных!), но всегда будет сожаление, что правда и непрощающая мощь памяти народной утрачена.

А ведь ещё не поздно. Нужен, нужен аналог «Гулага» – о раскрестьянивании страны, о невиданном в истории преступлении против собственного народа, истории собственной, будущего страны.

¹ Юрий Дмитриевич Черниченко (1929–2010) – российский писатель, журналист, публицист, телеведущий популярной передачи «Сельский час», общественный и политический деятель.

² Анатолий Иванович Стреляный (1939) – российский, украинский писатель, сценарист, радиоведущий, публицист, материалы посвящены в основном сельской жизни, экономике.

Я из огненной деревни

Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения – 4258. Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов – Генеральный план «Ост». Если у меня спросят, – вещал фюрер фашистских каннибалов, – что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Более 370 тысяч активных партизан, объединённых в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков – таков был ответ белорусского народа на расчёты теоретиков и практиков фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, наиболее безобидные из всех славян... Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии. Целые районы республики были недоступными для оккупантов. Наносились невиданные в истории войн одновременные партизанские удары по всем коммуникациям – рельсовая война!.. В тылу врага, на всей временно оккупированной территории СССР, фактически действовал второй фронт. В этой книге – рассказы о деревнях, которые были убиты, о районах, выжженных вместе с людьми. Но за судьбой этих деревень, этих людей нужно видеть и другое: сотни тысяч детей, женщин, престарелых и немощных жителей наших сёл и городов, людей, которых спасала и спасла от истребления всенародная партизанская армия, уводя их в леса, за линию фронта...

Про фашизм человечество знает, кажется, всё. Пепел миллионов жертв его стучится в сердца людей.

И всё же кое-где пытаются снова и снова обелить эту чуму XX века – в глазах новых поколений, которые сами не пережили ужасов Второй мировой войны. Вон сколько «научных трудов» печатается на Западе про Гитлера и его свору, сколько книг и статей, авторы которых, кто как может, стараются придать «человеческие» черты нацизму, память народов подменяя реваншистской тоской генералов, бывших приспешников фюрера.

Однако есть она, живёт народная память – неподкупная память о фашизме гестаповском, концлагерном, хатынском. Суд народов не закончился в Нюрнберге. Он продолжается – в памяти народной. Суд этот необходим не только во имя исторической справедливости. Он живым нужен. Тем, кому угрожают будущие «фюреры». Неспроста говорится, что тот, кто не помнит своего прошлого, осуждён пережить его снова.

И потому так важно, жизненно важно, чтобы на весь мир звучала народная память, правда о фашизме.

Хатыни – деревни, сожжённые, убитые вместе с людьми, – горячая, жгущая болью и гневом правда и память Беларуси. Жителям свыше двухсот наших разрушенных в войну городов и более девяти тысяч сожжённых деревень, многие сотни которых уничтожены вместе с людьми, – есть, что сказать всему миру. Не только о том фашизме, который видели и другие страны, но и о том, который они увидели бы, если бы фашистам удалось приступить к «окончательному урегулированию в Европе»...

Более двадцати миллионов человеческих жизней стоило это советскому народу – положить тот «окончательный план», вырвать победу из рук изуверов-расистов.

В этой всенародной борьбе решающую роль сыграла преданность своей Родине, человеческое мужество партизан и подпольщиков, всех тех наших людей, которых фашисты могли только убить, но не способны были превратить в рабов. Сотни тысяч советских партизан и подпольщиков (в Белоруссии – более 440 тысяч) и миллионы тех, кто был для народных мстителей резервом и тылом, – это помешало гитлеровцам осуществить во весь размах Генераль-

ный план «Ост», согласно которому десятки и десятки миллионов одних только славян были осуждены на уничтожение.

Однако «план» действовал, жестокость расистов всей своей, неслыханной в истории человечества, тяжестью обрушилась прежде всего на детей, на женщин, на немощную старость...

«Я из огненной деревни...» – документальная трагедия, книга-память, живой голос людей, которые были сожжены, убиты вместе с семьями, вместе со всей деревней и которые – живут.

Послушайте же, что говорит, как помнит об этом народ.

Десятки километров магнитофонных записей – рассказы более трёхсот непосредственных свидетелей хатынских трагедий – составили содержание этой книги. Тысячи километров дорог – асфальтовых, просёлочных, лесных – связывают их, жертвы фашистских зверств. Живут они, эти чудом уцелевшие люди, по всей Беларуси, в тех 147 деревнях, в которых мы отыскиали их, Свидетелей Правды, объездив на протяжении 1970–1973 годов тридцать пять районов республики.

Деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, у нас, конечно, значительно больше. Но не везде нам удалось найти непосредственных свидетелей. А записывали мы только тех людей, что на *себе* испытали страшную судьбу своих односельчан. Немало приходилось видеть и таких убитых деревень, где не осталось *ни одной* живой души. Только старые деревья, все еще чёрные, обгоревшие, колодезный журавль, трава, покрывшая дороги...

На страницах этой книги собрались люди, вышедшие из огня, из-под земли. И это – в самом реальном, не переносном смысле. Люди из огненных деревень собрались тут, чтобы свидетельствовать, спрашивать, судить, чтобы рассказать о том, что знать – страшно, а забыть – опасно.

Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как «плазму», невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые не только в словах, но и в голосе, в глазах, на лице, удержать всё то, что, как воздух, окружает человека, который рассказывал нам, а теперь, со страниц книги, обращается к читателю – к вам обращается. Так пусть же и вам будут адресованы слова, услышанные нами на многострадальной Витебщине от женщины из деревни Латыгово **Ганны Грибовской**:

«...А что у нас такое горе было, как и в Хатыни, дак никто и не знает. Хорошо, что вы приехали, потому что я ж сама... Вот и рассказывать не могу – плачу...»

Барбарка

Полесье. Брестчина. На восток от города Ивацевичи. Июнь 1970 года.

Озёра. Лес, перелески. Буйная зелень лугов и полей. То солнце, то морозящая облачность, то снова погромыхивания и ливень.

Вместо деревни Красница – просто лес, уже немолодой. И памятник у дороги людям целой деревни. Вместо Тупичиц и Вяды – ни лес, ни поле, ни луг...

Где были Тупичицы, там стоят одинокие груши и чуть ли не до ужаса необычные, обгоревшие дубы, что будут доживать свой долгий век уже без людей. Сюда мы, сойдя с лодки, от озера добирались по глубокому песку, здорово затвердевшему после многих нынче гроз.

То место, где была прежде деревня Вяда, а теперь – лесок, трава и остатки деревьев, которые когда-то росли в садах и на улице, мы видели издали, с пригорка, на котором стоит одинокий обелиск со словами и цифрами.

Потом снова было озеро Бобровицкое. Несказанно ласковая серость тёплой, почти совсем спокойной воды. Сплошь – пена после недавних барашков, бело-пёстрыми на тёплой серости полосками. Мы возвращались на стремительной моторке, над нами тарахтел вертолёт геологов, знакомых председателю колхоза, который водит нас по этим местам.

Там, где прежде были Бобровичи, теперь растут молодые берёзы, буйствует трава. Из-под кочки выскочил заяц. Пустырь.

В новых, построенных на новом месте Бобровичах мы опять, как и в других селениях, как и вчера и позавчера, записывали рассказы уцелевших.

Высоко вверх – над светлой комнатой колхозной библиотеки, в которой мы слушали людей, над новой большой деревней, над всем этим озёрно-лесным уголком западного Полесья – до самых космических орбит торжествует наша победа, в мире назревают новые опасности, идёт борьба за то, чтобы они отступили.

А внизу, в глубинах народной жизни, в животворящей простоте её точатся раны памяти, которые ничем не заживишь...

Вот и ещё одна из этих народных ран.

Рассказывает Барбарка, шестидесятилетняя **Барбара Адамовна Слесарчук**. Говорит со странной и жутковатой усмешкой – будто страшную сказку, необычайно далёкую, пережитую очень давно. Говорит временами почти совсем как сказительница – нараспев, с повторами, что не кажутся лишними, и по-местному – на трёх или четырёх языках одновременно: белорусско-украинско-русско-польском.

«...Это как нас били? Били... Даже тяжело рассказывать...

Хозяина прежде убили. Зажгли в клуне³... Я так переболела. Четверо детей, пятым была беременна... Запалили часов в пять, под вечер. Немец пришёл, выгнал. Один мой хлопец скотину пас, а трое со мной. Моя хата была тогда дальше, где теперь колхозный двор. Немец пришёл, выгнал. Собрались мы в хате, баб пятнадцать. Бабы сидят, как бы овцы, в хате. Думали: може, немцы только мужиков побили, а женщин не будут бить.

Одна, Остапова мать, говорит:

– Нас живых запалят. Не захотел нас побыты немец. Живых поपालит.

А я вышла из хаты:

– Утекаймо, женщины, утекаймо!..

А две девочки у меня и мальчик. Оны, бабы, не схотели утекать, а я и пошла.

³ Клуня – хозпостройка для сушки снопов, молотбы, хранения зерна.

Немцы стояли, кругом сзело цепью обняли, тут цепь, там цепь, и по селе ходили немцы. Так много. Я вышла на кусты в Богатые. Я не думала жить. Я не думала жить, а думала, куб⁴ он не глядел, куб нам от так черепа поснимало, куб мы свою смерть не видали.

– Бежим туда, куб мы не видали смерти! Где пуля в затылок или в плечи, – говорю, – нам попадёт, то легче нам, а то так трудно дожидать вот, чтоб нас убили. Вот, чтоб мы видали свою смерть...

Никто не схотел, никто не схотел, а я взяла и сама побежала. Я побежала, начали бежать с Остапова двора, нашего суседа. От того суседа побежала, а уже людей пулемётом секут, и с того конца и с того люди, падают, падают... Уже и ноги мои не побежат, куды уже мне бежать – взяла я, под сараем легла.

Так сарай, и так сарай, и так, а я легла за колодцем. Детей поукутывала лебедой, поукутывала, вот и лежу я, и лежу... А уже немцы там или полициянты, только воды напьётся да: «А-а-ах!» – скажет. А я лежу, лежу, лежу... Пули свистят, летят. Ну, меня убило! Слышу: не, ниц⁵ не больно. И лежу, и лежу...

И вот дети мои. Мальчик – два года было Василию. Не заплакал! Маленький: два года, неделю было на третий.

– Мамо, – говорит, – утекаймо, утекаймо! Нас, мамо, не убьют!

– Ох, говорю, сынок, сейчас бежать перестанем, откинем ноги в ту сторону и в эту, расстанемся с белым светом, святое воскресенье. Зара⁶ поубивают, зара.

– Не, мамо, нас не убьют!..

Это ж два года! О, он и сегодня слесарем у меня на ГРЭСе работает. Такой человек!.. А та девочка, шести лет, говорит:

– Вот видишь, мамо, даже мальчик каже, что нас не убьют. Убегаймо!

Вот и побежали. Под сараем легли...

Вот так, темнеть стало. Как огни, лампы зажигают. Лежим. Немец один сарай подпалил. Спичками. Ещё один – вижу я – спичками. В синей одежде два немца стоят. Лежу, лежу, лежу... С детьми лежу, лежу и – молчат! Это так вот – абы мне не погибнуть или что? Малый хлопчик и не заплакал! О!.. И так вот лежу! А там горит крыша. Сгорела. И немцы стоят, двое. Будто столбы синие. И стены начали гореть. И начала уже земля гореть. Это у самой земли трава та начала гореть. А я в середине лежу. И студова мне печёт, и студова. Это благодаря, что, бывало, ткём сукно из овёчков, валяное. Такэ было пальто надела. А если б я в кофточке была – сгорела б. Только платок скинула – косы все обсмалились. А тут вот моё пальто шкварыцца⁷, горит, а я его то песком, то так. Девочка – четыре года – визжи-ит! – спэклася. А я уже то так, то так. От-от-от погыбаю! От я погыбаю. А воны стоят, немцы. Не хотела, чтоб убило меня лежащую. Вот тянет меня немцу показаться, чтоб меня уже это убил. Уже нема спасенья – печёт. Нехай, думаю, убьёт. Только встану на немца идти – о, два стоят, – дети завизжали, а я – бух, упала. Так и лежу. Упала уже я и лежу.

И так вот помаленьку, так вот и гляжу: чи воны пошлы, чи не. Уже начало вот-вот гореть полымя, и оттуда, и оттуда. Смотрю это – ушли, ушли немцы. А я ещё минуточку полежала, думаю, нехай дальше отойдут. А я за одёжу всех детей как взяла и дёрнула дальше, в конец огня... У-у-у!..

Лежим на лужке Остаповом. Уже так вот трясло, трясло сильно нас, о!.. А я уже думала: «На всей деревне одна я осталась». Давай я уже братья за детей, то однэ сюда посадила – два года, а то – четыре года девочку – сюда, а там ещё сзади идёт. Пошла, пошла, пошла...

⁴ Куб (*диал.*) – чтоб, кабы.

⁵ Ниц (*польск.*) – ничего.

⁶ Зара (*диал.*) – сейчас.

⁷ Поджариваться.

А куда вот я?

Вот, на выгоновскую дорогу целюсь, к Выгонищам. Куды мне, думаю, деться? Моя мать из Выгонищ. Думаю: там у меня дядька. Может, возьмёт меня? Потому что и добить могут нас, уже думаю, в нашей деревне. Может, надо уже нас повыбить. «Партизан!..» Может, засчитали уже, что в сороковом году в колхозе были. Говорили же на нас: «Коммунист!..» Может, нас за это добивают. Вот!..

Уже взяла я, пошла, пошла к Выгонищам.

Не дошла.

Сяду где-нибудь на пенёк... Иду, иду... Как упаду – как полетят мои дети через голову все! «А-ах!» – только голову почешут. И не плачут. Вот горе узнали!..»

В рассказ женщины врывается очень недавнее воспоминание. Сегодня утром в городском посёлке Телеханы услышанные слова. Скупые, мужские. Колхозник-пенсионер Андрей Евхимович Куратник говорил:

«...А сын у меня остался. В трупях. Мать моя, когда её расстреляли, упала на него и так немного закрыла. Ранили хлопца в бок. Отполз он метров пятьдесят от ямы и заснул. Назавтра пришли – ещё пять выстрелов по яме дали. А он столько дней пролежал в стожке. Девять годов было. Не пивши, не евши. Партизаны нашли его, мне сообщили...»

Тётка Барбара говорит дальше.

«...Дошли мы до Выгонищ. Уже воскресенье. Другое воскресенье наступило, та неделя прошла. Пришла я, а уже моего дядьку, моей матери брата, застрелили.

Вот, думаю, и пожаловалась, вот он меня и пожалеет.

Жена дядькина и говорит:

– У-у-у, уже так тебе, может, и не надо жить на свете, уже тебе самой в огонь надо бежать. Детей у тебя много, да ты беременная ещё – куда тебе на зиму глядя!..

Сами в лес выезжали, хоронились, а меня не брали. А я в той хате лежу да уже, как мы по-старинному, помолюсь:

«Дай мне, Господи, сладкий сон! Или уже, если живая останусь, или чтоб я не слыхала, чтоб я уже погибла с этими детьми, заснула уже навек...»

Вот уже партизаны вышли оттуда, с Березины, сильный, сильный отряд. Из Вяды был знакомый человек, поговорил со мной, поговорил:

– Не бойтесь, говорит, не допустим немцев, чтобы вас убивать...

Дождались мы другого воскресенья.

– Вот, тётко, – говорю я дядькиной жене, – мне сон какой снился. Плохой, плохой! Я уже, кажется, по дворам ходила. Хлеба насобирала сумочку. Иду, иду, в глазах почернело. В одну хату зайду, а пять обмину и опять зайду. Так жалко, что столько своего хлеба много покинула. Да хозяина, да скотину. Лошади не было, быки были. Три коровы были: две коровы и тёлка. На Хотеничи погнали, на Ганцевичи, в ту сторону. Наплакалась я, нагляделась... Вот как!

Ну, моя тётка, дядькина жена, говорит:

– А мне хорошо спалось...

Вот, честно вам говорю, женщина! Щепочек тех не даёт – сварить. «Иди в кусты», – говорит. Вот люди какие есть, господа! Вредная была, богатая, сильно богатая! Чугунка просишь – чугунка не даст.

В Красницу ходю уже, мёду наносила я, и тебе, и себе. Уже думаю: «Нехай меня пчёлы... Может, помру». Ей-богу. Обмотаюсь в какое-нибудь тряпье. А мёду, мёду, мёду было!.. В ведре несу, несу, несу из Красницы. Это, когда её спалили. Я уже себе туды пройду. Может, убьют. Если не убили, то не убьют. А уже три дня, как добивать кончили. Уже я мёду наносила и уже себе квартиру ищу. Мы уже неделю сидели там, уже она, дядькина жена, говорит:

– Ищи квартиру. За тебя, недобитка, чтоб и нас не побили немцы...

У Лобановича квартиру нашла, у Алексеевой матери, у бедной женщины нашла.

Думаю себе: «Пойду я картошки, хвасоли принесу».

Пошла я за теми продуктами, пошла себе в Красницу.

А дети тама, в Выгонищах.

Несу я, до горы дохожу – ую-юй! – уже Выгонищи горят! Уже горят Выгонищи, с палимёта строчат! Выгонищи го-о-рят! Сильный такой ветер, что человека с ног валит. Они зашли от Бобрович, с того конца, от моста. Уже ветер – и ка-атит! Через десять хат кидало огонь.

Я плачу.

– Уже мои дети руки мне опростали. Где мои дети?.. Уже побежала я в Березину, куда все люди побежали. Нашла одну женщину, говорю:

– Може, моих детей видали?

Говорит:

– Видали. Побежали. Это Настя на плечи Василя посадила, понесла в Березину, далеко!..

И я туды. Искала, искала, може, с двенадцати часов, нашла – уже солнце заходило. Нашла я. И своих, и Бартановых детей нашла, пять штук. Уже нашла, сарай сгорел – картошки напекла, накормила их, тех чужих и своих...

И вот я думаю, куда мне деваться?

Пошла в болото. Сижу. Уже нашла спички, надрала лыка лапти плести и сижу я там в Надлеве, от Выгонищ километра три, от Бобрович – четыре. Я уже нашла, где с мужем косила, где наши покосы. Уже не могу, так мне обидно... Уже думаю: пойду под чужие стожки, очень мне жаль... Где косили, где гребли с мужем сено...

Пошла под чужие стожки. Сижу.

Уже давай картошку чистить. А тут как раз немцы бегут!.. Люди кричат, кричат на болоте.

Думаю:

«Чего это они кричат? Это так, може?.. Може, мати детей потеряла, може, дети мать потеряли да ищут?..»

У-ух! Как вылетают ко мне два полициянта. Выскочили из-за куста, за меня – цап! Уже меня взяли. Да уже моего хлопца – восемь годов:

– Сынок, где твой батька?

– Нема, убили батьку моего.

Уже убили немцы Романа моего.

– Паночек, я сама с голоду, с холоду загину, только вы меня не убивайте. Я не хочу, чтоб вы меня убивали. Нехай я сама пропаду с детьми...

Он говорит:

– Где больше люди?

– Побежали к лесу.

– Иди на телегу!

А сами ушли.

Если б я пошла на ту телегу, к тому бобровицкому полицаю, что всех добивал, что показывал, где кто схоронился, – он застрелил бы меня, убил бы. Сильно бобровицких людей он убивал. Я-то не попала к нему. Они ушли за кусты, а я – тоже за кусты. Вы меня не видите, а я вас! И я на такой тё-ё-ёмный побежала луг – такой луг, что камыш там, папоротник, всего там... Я туда побежала и лежу там. Лежу уже. Они всех людей высбирали, уже тихо стало...

Только партизаны бежали. Бежали партизаны, моим детям мяса варёного дали. Наелись мои дети – воды!.. Уже этот, которому два года:

– Воды, воды, воды, воды!..

А вода повысыхала, може, на метр, негде напиться. Темнеет. Уже этот мальчик, которому восемь лет...

– Возьми, – говорю ему, – мочи своей в чугуничик. Напоили.

– Не, – каже, – мамо, невкусная вода. Иди, ищи вкусной воды! Иди!..

Нема нигде воды. Плакал тот, плакал... Легла я. И спички нет, огонь развёл бы. Ой!.. Дай воды... – плачет. Я вот честно говорю вам. Выкопала такую ямочку, выкопала во. «Как на сырой земле человек полежит, – думаю, – то умрёт». Повыдирала мох, повыдирала. Потому что малые: «Как же я вас прокормлю, как одену?...» Вот я ямочку выкопала в болоте до самого торфа, все мы в неё и легли. Вот уже заболит, воспаление возьмёт, уже его и не будет на свете, хоть один руки мне освободит...

И вот живёт! Даже ни чуть-чуть не заболел!

И вышла я опять с того болота.

– Пошли, говорю, дети, в Телеханы, нехай нас добивают.

Дети не схотели.

– Куда хочешь, мамо, нас в свет веди, только не пойдём к тем немцам и полицаям!..

В Великой Гати квартиру нашли. Стали палить и Великую Гать... Это уже я тогда в партизанах была. Сидела, сидела, сидела, траву сушила, деток травой укутывала. Здоровье потеряла, ревматизм достала. Вот как!..

Детей порастила, порастила. Пошли по государственной работе всюду. И дети по свету, а я – себе... Вот спасибо, пенсию дают уже. Овец доглядала, тысячи овёчков выходила, десять лет на ферме стояла. Дети работали.

Вот всё свое страдание пересказала. Может, я и лишнее что сказала? Я неграмотная. Извините...»

Мать и сын. Сын и мать

1

Минская область, Копыльский район. Рулёво – даже и деревней неудобно назвать: три хаты на опушке, посёлочек, однако и он отмечен памятником жертвам ещё одной карательной экспедиции 1943 года.

Лизавете Иосифовне Кубрак шестьдесят шесть лет. Женщина немощная, с клюкой. Рассказывает вроде спокойно. Предупредила только: «Не бойтесь, если я буду вскрикивать от боли: у меня отложение солей...»

«Говорят, что едет карательный отряд. Из Песочного много людей сюда приехало, укрыться. А они, немцы, ехали не по дороге, а болотами: хотели захватить всех. Приехали, нашли, значит, много чужих людей. А эти люди решили, что если едет карательный отряд, дак мы скажем, что из этой деревни. Было большое гумно колхозное, а земля тогда уже была разделена, дак они решили, что мы это все молотим тут. Пошли наши мужчины молотить туда, и эти пошли, из Песочного.

А немцы, как приехали, дак в каждом доме спрашивают семью, жителей дома. Мы помещались у тётки, у нас своего дома не было. Муж, сын и я. А у тётки было две дочери.

Мой муж с сыном тоже пошёл туда молотить. В гумне люди хотели спрятаться по норам, но не успели. Немцы открыли двери. Кто успел цеп схватить, тот – будто молотит, а кто и не... А в домах они, немцы, спрашивали: «Где мужчины?» А моя тётка говорит, что молотить пошли. А две из Песочного, учительницы они были, сидят на печи. Я уже им сказала: «Хоть бы вы что вязали...» Немцы спрашивают:

– Где хозяйка?

А тётка говорит:

– Это у меня две дочери, и ещё племянник с женой живет, а у них – сын.

– А эти кто две?

Она говорит, что это люди из Песочного.

– А чего они у вас тут? Она говорит:

– Тут мои девчата, и они приехали с прялками.

Что ж иначе говорить?

Они ко мне:

– Где муж?

Им мужчины нужны были. Я говорю:

– Молотят там, в гумне.

– Пойди, позови.

Я пошла, позвала.

– Партизан? – спрашивает.

А он говорит:

– Пан, какой же я партизан? Вот спросите у хозяйки, мы совместно живём.

А были немцы, и были полицаи.

– А это кто?

Он говорит:

– Это из Песочного. Вот у тётки дочери, они – подруги, дак они пришли к ней.

И немцы у мужа спрашивают:

– А когда они пришли?

Он говорит:

– Сегодня.

А те говорят:

– А мы тут уже целую неделю живём.

Уже не одно пошло. Им верят, а ему нет. А берёзовая палка здоровая, лучше, чем у меня во, да с набалдашником. И давай они его бить... И столько били, что прямо он чёрный весь был. А тот палку в сторону отставил, и другому говорит:

– Застрелить.

Видю я, что беда, давай просить:

– Пан, это неправда – они сегодня пришли. Пойдите вы поглядите: они из Песочного, ко всем понаехали, не только к нам. В некоторых хатах по двадцать человек, по пятнадцать, и кони стоят запряжённые, и в гумне много...

Они и пошли глядеть.

И пришёл уже вечер.

У тётки дом большой был, и их собралось человек пятьдесят. Наносили соломы. А мы на кухне поместились. На полу около печки посадились и мы, и возчики, что их привезли. Я у одного этого человека и спрашиваю, у возчика:

– Дядька, где они, что делают?

Дак они говорят:

– Ничего.

А другой говорит:

– А, в Песочном? Одну девочку убили и дом спалили...

Ну, у меня уже мысль плохая, если они так сказали.

Долго не ожидая, приходят и спрашивают по-польски:

– Где господаж?

А он же сидит рядом со мной. Он говорит:

– Я.

– А ну вперёд!..

Поскольку они говорили, что застрелят, дак я ж и посчитала, что берут застрелить.

Он поднялся и говорит:

– Прощайте все.

Куда забрали, не знаю...

Погодя видим – детдом горит. Думаю я: видать, туда его завезли. Там убили...

Ещё тихо было назавтра, а я всё чувствовала, что будет плохо.

А там у нас сарайчик был, где стояла тёлка и кабанчик. Дак я говорю сыну:

– Идём туда. В случае чего, дак мы в лес.

Не успели мы дойти туда – уже выстрел получился. У нас была в сене, в сарайчике, нора пробита, – дак сын говорит:

– Мама, я полезу туда.

Потом я говорю:

– Не, ты лучше лезь наверх, а я – за тобою.

Он лезет, а два немца входят как раз... Дак я его – за ноги. Лопочут они чёрт их знает что. А я им говорю:

– Пан, я даю есть корове.

А они говорят по-немецки. И давай нас толкать, сына и меня. Так вот сарайчик наш стоит, а так вот – то гумно большое, где они молотили, мужчины. Уже двери открыты. И стал такой большой снег идти! Дак они, немцы, один за него, а другой за меня. Втолкнули в то гумно. И

дали два выстрела. Сын побежал, а я упала. Так упала, не ранили. Мне не больно. А в сына, видать, попали, что и не ойкнул. Такая мысль у меня мелькнула...

Вопрос: – А сколько ему лет было?

– Четырнадцать лет было.

Стало гумно гореть... А там семь хозяев складывались. Снопы. Дак там всё перемешано... Как я упала, дак ещё и соломы на себя натянула. Когда солома стала гореть, дак я думала, что я лежу у стенки, под оконцем, через которое шёл приводной ремень молотилки. Подымаюсь к этому оконцу и гляжу – они стоят. А впереди постройка горит, и это же гумно горит... А там ещё из гумна в поднавес, где молотилка, большое окно, и оно колючей проволокой перекрещено. Попробовала я один виток – ещё вот раны остались – один виток был с гвоздём, дак оторвался, а другой – с пробоем – никак. Всё – не вылезешь! Да если б это человек нормальный, а то ж весь...

И в этот момент мой сын:

– Мама, ты живая? (*Плачет.*)

Я говорю:

– Живая.

Он вырывается бежать. На нём был кожушок, он сбросил. И шапка горит на нём, и пинжачок горит... (*Плачет.*) Набрала я снегу, стала тереть, его тушить. А он вырывается бежать. А я говорю:

– Сынок, ещё стоят!..

Вопрос: – А вы уже вышли из гумна?

– Не, в гумне. Ветер клонит, двери открытые, снег большой кидает, а мы у самых дверей...

В тот момент они отходят, эти немцы, потому что многие постройки горят и на них – дым большой.

И мы за ними выходим – вот так, как от меня до вас. Как они могли не оглянуться? Судьба какая-то есть на свете... Навес около гумна незакрытый. Гумно сгорело, а навес остался. И мы зашли туда. И только крик слышали, стрельбу большую и крик...

Сын может бежать, а я не. «Мамочка, ты – раненая». А я говорю, что не. Ну, откуда ж кровь? А у меня эта рука порванная была вся. Не чувствовала я. Ну, он может бежать, а я – не. Там было такое дерево большое, срезанная ёлка. Снегу много надуло. Он меня тянет хоть в эту ёлку, в снег. Ну, куда ж он меня дотянет! Четырнадцать лет было. Дак я говорю:

– Сынок, спасайся, а мне уже всё равно как будет.

Дошли мы ещё дальше, полежали там немного, в яме, где песок брали. И вот в этот лесок, сюда. Этак вот с утра ходили мы, день, ночь ночевали... Он же тоже раздетый, только пинжачок на нём. На мне была тёплая кофта такая, дак я её сняла и на него надела. Дитя. Ходили мы, ходили, куда ни пойдём – немцы... Их нема, но они нам всё равно в белых халатах показываются. От страха. Под утро петухи поют. А выйдем на край леса – немцы... А их же не было! Только люди приходили, трупы собирали, а их – не было... И уже так всё доходит, что только спать – и всё... От холода. Спать. Но я знаю, что как сядем – всё... Лапок наломаем, на снег положим, я сажусь, а его беру на колени. Как он только засыпает, дак я его вот так вот... (*Показывает, как будила.*) А только сучья на деревьях трещат да падают. И того мы пугаемся...

Под утро вышли на край, и куда ни поглядим, всюду нам – немцы ходят...

Мужа моего они не убили. Взяли на подводу, чтоб показал, где Свинка, деревня такая. Там были эти «самооборонцы». И там, в Свинке, моя мама родная жила. А они ещё хотели туда, где там где-то Кошачий Брод есть, чтоб он туда вёл. А им сказали, что не езжайте, потому что вас ночью убьют партизаны. И тут они мужа отпустили. И он пошёл к моей маме. И мама его оттуда не пускала, потому что уже наше Рулёво горело...

Это уже мама мне рассказала, когда мы с сыном в Свинку пришли.

Мама говорила, что мой муж, когда он ушёл оттуда, из Свинки, глядеть, живые ли мы, дак говорил: «Если их нема, дак и я не вернусь...» Женщина одна в чулках только по снегу из Рулёва прибежала и сказала, что видела, как нас повели, и слышать были два выстрела, а куда мы подевались – неизвестно... Он костей наших искал и не нашёл...

А мама моя запрягла коня и в Рулёво приехала. Он плачет, а мама говорит:

– Они живые, они пришли уже до нас!

Потом мы жили у мамы. Я была чёрная, тёмная. Больше года была ненормальная. «Немцы, немцы!..» Куда я ни пряталась, куда я ни ходила – всюду немцы были... В белом, в белом... Нагнувшись ничего не могла делать, только стоя. Гречку на телегу подавать... Получился у меня менингит, гипертония, и так – всю свою жизнь мучаюсь...

А сын вот уже в этом месяце девять лет как помер. Мой Ростя. Шестеро внуков оставил... Они в детдоме, четверо младших...»

2

В Новом Селе Борисовского района, на Минщине. **Михась Николаевич Верховодка** рассказывал о том, как весной 1944 года убивали его родные Буденичи.

Михаилу Николаевичу сорок лет. Он был один в хате, однако по рисункам, наклеенным на стенке, здесь ощущалось присутствие детей. Впрочем, он и сказал нам после, что это дочка так хорошо рисует.

Человек характера мягкого, чуть ли не с женской лаской в голосе. Может, потому и помнит всё так подробно. Как женщины. Рассказывал охотно, будто, наконец, дождавшись случая.

«...Два дня дождь лил... Ну, тут все вышли... Есть ни у кого не было ничего, голодный народ был. Посадились, солнце пригрело – все тут и посадились на месте.

А я сидел, не задремал, ничего. Известно, ещё ребенком был. Гляжу: немец идёт. Я только сказал:

– Ай, немец идёт!..

Большой идёт, с автоматом.

Моя сестра была. Брата убили тут же, на месте. Как я сказал: «Немец идёт!» – дак сестра – дала драпу в лес. Тут нашлась ещё невестка – она тоже в лес. А дети – за нею.

Ну, а мы только повставали все. Стоймя стали.

Корова была привязана. Он дал очередь в то место. Попало этой корове. Корова эта – по лесу. И повалилась. Как начала ногами... Пока она кончилась.

Он надумал – и ракету вверх – жаж! Тут их аж черно стало. Повыбежали из лесу, окружили нас полностью, со всех сторон. Ну, хлопцы такие были – крест⁸ во на рукаве и в чёрном одеты были.

Нас построили. Начали издевательства. Мужчин отдельно построили, а баб – отдельно. И начали лупцевать этих мужчин.

– Где ваше, бандиты, оружие?

Сюда подставит, под бороду... Карабин или чёрт его там знает. А я за юбку у мамы держусь. Я ж уже немного ладный был, первый класс кончил уже.

Так этих мужчин били, сколько им надо было, метров пятьдесят отогнали, лёг пулемётчик... Миномётчики легли с боков.

А у меня еще детский разум был – глядеть, как мина летит. Один лежит, а другой зайдёт со стороны – швырь! Я видел это – мина летит и плюх там, свалится, туда, в березничек. Я то место знаю и теперь. Только теперь оно изменилось, конечно, много лет прошло.

⁸ Свастика.

Побили этих мужчин – бабы наделали крику. Пулемётами побили – куда ж они на чистом лугу денутся? Три пулемёта. Как косанули! Там и мой брат был, Василь. Жена его с нами была и дети.

Прилетает один сюда, этот немец. Хотели нас в березничек, тут уголок один остался. Какой-то старший подъехал и говорит: «Нет!» Или как он там сказал. Они изменили план. Как стали из миномёта бить – два хлопца идут. Молодые хлопцы, може, им тогда по семнадцать было, по восемнадцать. Нас пока оставили. Тут плач. Тут дети эти плакали...

А я не плакал, как-то держался. Интересовался просто... И знал же, что на смерть иду!..

Добре. Занялись этими хлопцами... Били их, сколько хотели. Известно ж, люди при силе, а тут – бессильные. В этот березничек, где нам надо было лечь, этих хлопцев. Так вот как-то положили и прострочили их.

Сейчас подошел ихний этот, какой-то старший, видать, и говорит:

– На Буденичи!

Ну, нас погнажи.

Мы немного отошли, и этой нашей невестки старший хлопец прорвался. А младший, Генка, тот остался. Вернулся сюда, где нас брали.

А меня как брали с места, то там постилка была завязана: хлеба краюшка была. Я завязал за плечи. Дак он мне сказал:

– Сынок, не бери, он тебе не нужен.

Я на месте это и бросил.

Прогнали нас метров пятьдесят – выбежал ребёнок. Шёл сзади конвоир. Говорит... Старушка сзади шла, дак он ей говорит:

– Приведи его!

Пацанёнка того. Она пошла. Если б умная старуха, дак она б за этого пацанёнка да в лес. Чёрт бы за нею побежал. Мы тут начали б разбегаться. А она пошла, за ручку того ребёнка и привела сюда, в колонну к нам. Идём дальше. Мать мне говорит:

– Сынок, лезь в куст.

– Мамочка, – говорю я, – штыком как даст!.. Пырнет всё равно.

Я уже разбирался. Десятый год мне был. Или уже одиннадцатый. Я девяти лет в первый класс пошёл: маленький был какой-то.

Добре. Я не полез в куст. Пригнали нас в землянки. В первую землянку пошли старухи какие-то. Мы отошли метров тридцать – уже эти первые – др-др-др! Горит. Кто в другую пойдёт? Столбом стали люди. А у них палки были – или они повырезали, или им давали такие, чёрт их знает. Лупцуют сзади там...

Гляжу: моя мать первая пошла в эту землянку. Ну, раз мама пошла, должен и я. Я за нею второй – шмыг. Она как шла – были две переборки, поленца такие. Кто-то картошку ссыпал, что ли. Она легла туда так вот как-то. (*Показывает.*) А я сел. Тут еще старушка... Или они вкидывали их – кто знает. Мы не видели. Може, моей маме первой попало, дак она и шмыгнула сюда... Налезло, налезло, налезло людей – дети и бабы старые. Я сел, и мне думка такая – тюк в голову: «Я знаю, что убьют, дак нехай с мамой убьют». Он только стал в дверях. Что-то там стал копаться в автомате. Начал он лязгать, а я в этот момент – шуст за маму. Так вот лёг и слушаю, как в меня будет пуля... Ещё не разбирался, – думал, что она будет, как червяк, точить, эта пуля. Може, я так минуту полежал. Он – д-р-р! – начал стрелять. Пострелял... Только у нашей невестки, – а брата там убили, на лугу, – был дитёночек малый на груди привязан, дак тот только «ку-ва, ку-ва!» – закричал...

Всё. Кончилось.

Приносит солому сюда, в эту землянку. Солома, слышно... Я ж то живой. Солому – шарах сюда и запалил. Дым этот тут пошёл. Лежу я так вот, зажимаюсь. Сгорела эта солома.

– Ё.т.м., не горит!

По-русски сказал. А так – лопочут по-немецки.

Добре. Сгорела солома, отошли, минуты две – гранату сюда. Граната эта разорвалась. Тут всё это – поленья, бочка какая-то лежала, железяки – всё на нас выворотило. В двери он туда попал. Те, что были убитые, тех поразрывало. Другую они вбросили. Но это я уже мало слышал. Как выстрел какой-то, как пистолетный. Я ещё услышал это. Мать, не знаю, слыхала или нет...

Добре. Пролежали... Сколько мы там пролежали?.. Я слышу: мать дышит, живая!.. Я уже её прошу:

– Мамочка, не дыши. – Так страшно ребёнку, что я говорю: – Мамочка, не дыши.

Добре. Тут подходят, посчитали это: «Айн, цвай, драй, фир, зекс...»

Тут девки едут... Коровы мычат. Кажется, встал бы и пошёл, если б только не трогали... Они отступали это уже. Немцы. На Усохи ехали. И полицаи с ними. Коровы мычат, девчата поют всюю...

Вопрос: – А что за девчата?

– Откуда же я могу знать? Я лежу. Я только услышал, что земля – дух-дух-дух, дак я пробовал вставать. Мать не вставала. Я встану, только слышу: земля – дух-дух-дух.

Я говорю:

– Мамочка, идут уже опять!

Я всё страху нагонял ей. И сам боялся...

Я расскажу вам ещё одно... Это я пропустил. Подходит до землянки этой, где убитые, говорит:

– Тут мины наведены.

А мне, малому, думалось, что это они ещё и мины при этом навели. Я слышу. Какое ж тут расстояние? Я глядеть только не могу: не пошевелюсь никак. Это немцы не заходили, ушли. Сейчас приходят два немца ещё. Люди побиты, гранатами. Всё. А они там что-то – ляп-ляп чем-то. Железки... И сами с собой: «Гер-гер, гер-гер...» А дыхание-то мы не сдержим! Я лежу так вот носом в землю, а мать немножко боком лежала. Где ж тут сдержишь дыхание! Они задержались как-то долго. «Ляп-ляп-ляп!..» Мать возьми да чихнула... И один услышал.

– Что-то дышит!.. – то по-немецки говорили, а то – по-русски: – Что-то дышит!

Другой чем-то, я не знаю, железо какое взял или палку, и засекли, в каком месте кто-тодохнул.

Мать эту катают... Ну, я за матерью вот так вот шевельнулся.

А другой говорит:

– Ё.т.м., кто тут может дышать? Смотри – руки, ноги валяются, кто тут может дышать?..

Вопрос: – Так они то по-немецки, то по-русски говорили?

– Между собой по-немецки, а эти слова сказали по-русски.

Добре. Я это слышал, малыш, лежу. Сейчас же они шмыг отсюда и ушли. Страшно им стало, что ли?..

Тихо стало. Всё. Забегут, поглядят... Те, что ехали позже. Возчики это, что ли?

Лежим мы. Стало вечереть. Это к обеду было, когда нас оттуда, с места, взяли. Стало вечереть. Они, наверно, пост оставили в Буденичах, пулемётчика или двоих. Ну, и несколько партизан нарвалось на этот пост. Они тоже тогда, хлопцы эти, шли несмело и нарвались. Завязалась драка. Такая драка, что эти самые немцы – все оттуда начали в Буденичи садить.

А мы лежим. Всё боялись это. Мама моя уже тут опомнилась. Говорит:

– Сынок, вылазь!..

А они опомнились, стали из пушек бить, из Усох или из Икан там.

– Как попадёт снаряд, сынок, дак и убьёт нас.

А у меня в памяти другое:

– Мамочка, они ж мины навели!

Я уж слышал, как они говорили. Я ж не разбирался, что это за мины такие и как их наводят. Говорю:

– Мамочка, они – мины... Я взорвусь...

А она:

– Лезь, сынок, снарядом попадёт – то и убьёт.

Ну, я и вылез. По этим людям – граб, граб, граб – и перелез. Стал у косячка и гляжу, а немцы эти бегут. «Гер-гер-гер...» Сюда это. Уже темновато. Фонарь вот такой повесят, ракету – видно, хоть ты считай... А я у косячка спрятался, у землянки, и стою. И говорю:

– Мамочка, скорей! Мамочка, скорей!..

Ну, мамочка постарше, разлежалась... «Поднимусь, – говорила потом, – и повалюсь, поднимусь и повалюсь...» И мокрая. Мы ж мокрые от дождя. Потом расшевелилась.

Как только она вылезла – дак я и побежал. Просто ни страху никакого... Где ж тут – уже утекаешь да будешь бояться? Побежал и как раз попал в жито. Метрах в двадцати. В полоску жита. В жите я уже жду.

– Мамка, скорей! Мамка, скорей!

А она ползёт да ползёт... Я пожду её и дальше. А она меня и догонит. Выскочили мы опять на этот луг. Выбежали на пойму – видно: ракету эту повесят. А пулемёты режут, автоматы!..

Она говорит:

– Убьют.

Я говорю:

– Всё равно уже, побегу я. Если ж меня убьют, дак ты сиди тут!..

Я и побежал, как клубок покатился через эту пойму. Добежал до лесу... И уже тревожусь, боюсь. Как раз попали мы на это место, откуда нас брали... И почему как раз сюда пошли?.. Пождал я мать, прибежала мать. Постилки, всё раскидано... Нашла она тут, на этом месте, круглый котелок, сухарей, може, пять нашла, и соли такую вот торбочку. У кого-то осталась. Она взяла. А я всё пищу:

– Мамочка, быстрее! Мамочка, быстрее!

Из страха такого вырвавшись.

Добре. Куда ж нам идти?.. Лес чужой, а ночь уже настала, темно. Метров, може, пятьдесят, а може, больше мы прошли. А потом легли и спали вот так...

Ещё ночью, как мы шли, дак крот бугорок нароет, а мне уже казалось, что это – мины... Говорю:

– Мамочка, мина!

Мы обойдём его, этот бугорок. А потом легли под ёлочкой. Просыпаемся, уже обед – столько мы спали. Добре. Я уже стал говорить:

– Мама, есть хочу!

Дак она мне – сухарь. Я его немножко похрупаю. А куда идти – не знаем, куда идти. В лес, чтоб только в лес, чтоб на край не попасть нигде.

Вот прошли мы... А тут партизаны. Подходим.

– Откуда вы? – говорит.

Дак я уже говорю: так и так, от немцев утекли.

Они нам влили крупени немножечко, такая вот, сечка. Мы уже совсем другие люди стали: мы уже горячего попробовали. И зашли мы на Горелый Остров...

А потом и армия наша скоро пришла.

Ходили мы с мамой и плакали. Там, где убитые, в Буденичах. Сказали нам, что и брат мой убит...»

Горит район

В музее городского поселка Октябрьский Гомельской области можно увидеть такие цифры:

«Перед войной жителей в Октябрьском районе было – 32 тысячи.

В конце 60-х годов – 25 тысяч».

Нечто подобное расскажут вам и Минщина, и Витебщина (бывшие Логойский и Бегомльский, Россонский и Освейский районы), и другие места Белоруссии.

Выполнять свой план «обезлюживания», «освобождения жизненного пространства на востоке от населения» фашисты начали с первых дней войны.

Но особенно зловещий размах это приобрело на исходе первой военной зимы на Октябрьщине.

Гомельскую область мы выбрали для записей в 1971 году потому, что лето было тогда сухое. Знали по Брестской и Гродненской областям, где уже побывали, что добираться придётся до самых дальних деревень, оно, пусть и подсушенное, приподнятое мелиорацией, а всё-таки – Полесье...

Хотя и знаешь, что Беларусь – нефтяная республика, и уже не первый год, но, очутившись в тех местах, будешь снова и снова искать глазами вышки, огромные баки – такое всё необычное здесь, среди густой полесской зелени.

Немного в стороне – обязательные газовые факелы.

Знаешь, что это дорогая, «нерентабельная» красота, а не смотреть – не можешь.

И смотришь по-особенному: своими, но уже и не только своими глазами. Такое ощущение, что ты уже видел это полыхание под полесским небом, но в те годы – ночное, тревожное... Один из нас партизанил как раз на Полесье, но дело здесь не в его личной памяти, а в той памяти, которую мы собираем и с которой скоро и неизбежно сживаешься, как с собственной.

Люди из огненных деревень...

«Я не из этой, но тоже из огненной деревни», – сказала нам витебская крестьянка. И сколько их в Белоруссии, деревень, которые страшно, жутко породнил огонь! «Я – тоже...»

Не одному, пожалуй, человеку ночные отблески мирных газовых факелов нефтяного Полесья не дают заснуть. Потому что видится тогда и такое:

«...Снаружи подожгли нас. Вот взяли так, брызнули на этот клуб – и этот клуб пошёл гореть. И вот один наш... Он в окно, в раму как дал и вылетел с сыном. Сын был вровень с ним. И ещё женщина... Они, как летели ключом через это окно, дак немцы по ним очередь выпустили – те, что у железной дороги лежали. Они бежали все, как гуси какие, ключом, так они все и полегли, эти люди. А я сзади, из окна выпала, и тут канавка ж была, и кустики были такие...»

(ТэклЯ Яковлевна Круглова из городского поселка Октябрьский.)

«...Подожгли Ковали. На этом моменте. И мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь...»

(Матруна Трофимовна Гринкевич из деревни Курин Октябрьского района.)

«Тот край деревни занятый, а наш ещё свободный. Мы и пошли на посёлок, что у самого леса. Потом в ольшаничек. И тут нас, може, баб пятнадцать лежало, в этом ольшанике. Уже упали и лежали. Не видели, как они жгли, как убивали, только слышно – сильно кричали, народ

кричал. Не слышно, что она там одна говорит, только: «А-а-а!» Только голос идёт, идёт голос. А потом и всё – онемели...»

(Ганна Сергеевна Падута из Лавстык Октябрьского района.)

«...Я отползла так, може, метров сто от деревни и лежу в жите... Я далековато была от них, оттуда, где их там жгли, – метров, може, четыреста... Лежу я и слушаю, а их там из автоматов – та-та-та-та – строчат, строчат из автоматов, как завели уже в хату... А потом вижу – горят уже хаты, и деревню всю осветило. Видно стало, а уже темнеть собиралось... А потом, когда утихло всё, я тогда в жите встала, вернулась на свою усадьбу и позвала, може, где кто есть. А никто не отзывается, только скот ревёт, да коты мяукают, да собаки лают...»

(Катерина Даниловна Крот из Лозок Калинковичского района.)

Это всё в наших людях очень уж близко, и звать не надо, на самом кончике памяти:

«Когда так всё тянется, – говорила нам женщина в деревне Костюковичи Мозырского района, – думаешь, может, это уже кончилось. А как снова, вот так напомним... Кажется, что снова начинается...»

Те тысячи километров, которые молодой шофёр Коля Сулейка накрутил на колёса обкомовского «газика», пока мы ездили по Гомельщине, если перенести их на карту, вытянутся в ломаную линию, на концах и углах которой Гомель – Речица – Калинковичи – Мозырь – Лельчицы – Петриков – Копаткевичи – Озаричи – Октябрьский... И если это считать стволом дерева, то ветви и ветки его – уже те деревни, куда нам и надо было всё время «ответвляться»: Горваль – Глыбов – Первомайск – Крынки – Лиски – Алексичи – Лозки – Прибыловичи – Большие Селютичи – Тонеж – Копцевичи – Новосёлки – Великое Село – Лучицы...

Особенно много таких деревень вокруг Октябрьского – более тридцати.

«Фильтрация», «акция», «экспедиция» – по-разному оно называлось в разных районах Белоруссии, но означало одно: массовое уничтожение населения, запланированное заранее.

И Гитлер и его подручные по разбою и расистскому каннибализму о многом говорили открыто. Но ещё больше прятали до той поры, «когда можно будет» (после победы над главными противниками) приступить к «окончательному урегулированию».

Гитлер:

«Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно. Главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим... Мотивировка перед миром наших действий должна исходить из тактических соображений... Итак, мы снова будем подчёркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нём порядок и установить безопасность. Мы были вынуждены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения и т. п. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательно урегулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, мы всё же будем применять все необходимые меры – расстрелы, выселения и т. д...»⁹

И ещё:

«Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества: она даёт нам возможность истреблять всё, что восстаёт против нас»¹⁰.

Борман:

⁹ Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 104.

¹⁰ Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 105.

«Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше было, очень велика... Именно поэтому мы должны принять необходимые меры...»¹¹

«Меры?... Расстреливать каждого, кто хотя бы косо глянул!» – кричит ефрейтор Шикль-грубер – Гитлер. А Кейтель переводит это на генеральский язык приказов: «Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры... При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью...»¹²

И вот немецкие регулярные войска начали здесь, на Октябрьщине, реализовывать ту удобную «возможность»: под видом борьбы с партизанами выполнять давний и главный свой «план».

Для военных и хозяйственников «удобно» было, что и партизан, как они рассчитывали, станет меньше, местность станет «чистой», доступной. Но главное – вообще меньше будет этих славян, этих белорусов, русских, украинцев... Ещё в начале 1941 года, выступая в Вевельсбурге, Гиммлер изложил цель «русской кампании» в таких цифрах: расстреливать «славянское население» – каждого десятого, чтобы (для начала) уменьшить их количество на 30 миллионов¹³. Почему бы заранее, не ожидая окончательной победы, не начать на деле «снижать биологический потенциал» восточных народов? Дело это уже начато – в концлагерях и в лагерях для военнопленных. Перенести это и в деревни, откуда каждая нация черпает в основном «человеческие ресурсы».

«Согласно плану, – говорилось на одном из совещаний в Ставке Гитлера, – предусмотрено выселение 75 процентов белорусского населения с занимаемой им территории»¹⁴.

И «выселение» началось. С первых дней войны, оккупации. Массовое уничтожение и выселение людей из района Беловежской пуши, карательная операция «Припятские болота» в июле – августе 1941 года. Ещё более жуткий размах приобрело это в начале 1942 года – в Октябрьском районе. А начали здесь – с деревни Хвойня. Правда, относилась деревня эта к соседнему, Копаткевичскому району, но на немецких картах якобы числилась за Октябрьским. И потому с неё начали. Расписание, инструкцию, план выполняли со зловещей педантичностью. Приехали и убили 1350 человек. За что? Потому что на их карте Хвойня – в Октябрьском районе. Так и объяснили это и полицаи, и сами немцы. Объяснения должны были поддерживать у окрестного населения веру, надежду, что уничтожают, карают «за вину», а не «всех подряд». Фашистам, понятно, не хотелось, чтобы люди бросились в леса. Достань их потом оттуда! Вот и «объясняли». Убили Алексичи – большую деревню около Хвойников, и пустили слух: ошибочно, не ту хотели, а совсем в другом районе, а те, другие Алексичи – в самом деле «виноваты»! Уничтожили Лозки и опять: хотели Голявичи, ведь возле них партизаны поезд подорвали, к ним это ближе было. А здесь, в Лозках, ошибка вышла!..

Не только их жуткие дела, но и эти идиотские «объяснения» лишний раз показывают, что и Хвойня, и Лозки, и Алексичи, и вся Октябрьщина, и сотни других деревень в других районах уничтожены, убиты за одну-единственную «вину»: в деревнях этих жили советские люди, которых «перевоспитать» в покорных невольников фашисты не надеялись. А потому

¹¹ Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 122.

¹² Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 396.

¹³ Heydecker, Joe J., Johannes Leeb. Der Nürnberger Prozeß: Bilanz der tausend Jahre. Kiepenheuer und Witsch, Köln – Berlin, 1958, s. 418–419.

¹⁴ Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия Фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 115.

главная задача – «выселить»! А что значило это – одной из первых испытала Хвойня, а за нею – почти все деревни Октябрьщины.

Было тогда в Хвойне более трёхсот дворов. На их месте сейчас – шестьдесят. Новых. И люди в деревне новые. Беспорядочно рассыпались эти шестьдесят хат по песчаным пригоркам. По сыпучему песку мы идём к братским могилам, в которых похоронена бывшая Хвойня – 1350 человек...

Что с ними сделали, с этими людьми, рассказывают нам муж и жена **Репчики – Миколай Иванович и Вольга Пилиповна.**

«...Значит, рано мы встали и глянули в окно, – начинает Миколай Иванович, – как тёмная туча, они были на той стороне речки. Куда они едут, чёрт их знает. Много народу кинулось в лес, мужчины больше. Бабы с детьми остались. Ну, и мужчин осталось много. Что делается? Приехали они, охватили деревню, заняли с конца и гонят – и детей, и малых, и больших, и старых. Кто не может идти – из хаты не выгоняют. Остаются. Я тогда окалеченный был, мне перебило ногу, и я в гипсе лежал. Ну, думаю, что будет, то будет. Вижу, погнали людей. Мужчин отделили, и детей с женщинами. Мужчин загнали в гумно и запалили: я уже вижу, что огонь горит. Вижу, с горы гонят пачками женщин и детей. А гумно горит. То горит, которое дальше. А их гонят в другое. Кончили гнать сюда – раз, двери закрыли, облили бензином и подпалили. А мне все это из окна видно. Я говорю своей семье:

– Знаете что – кто куда! Не хоронитесь только в постройках, а где какие колоды или корчи. И в стога не хоронитесь, он подожжёт, гореть будем.

Эти бабы что делают? Напугались. А у меня землянка была. Так вот – хата, а от хаты – так вот землянка. Я сказал им, а сам по их следам иду, потому что забыли они обо мне, что и я тут. Дак я взял тогда повод прицепил – была у меня верёвка такая, – спустился с кровати, ногу так-сяк обмотал и пошёл. Переполз я порог, смотрю, куда они пошли. Вижу – в землянку. Дополз я туда. Но уже к моей хате немцы не подошли. Так мы и остались.

Кто был где в хате, тех побили, горят в хате. Войдут в хату – люди лежат, а кто утекает – стреляют. Волы ходят, коровы ходят, свиньи пищат, а деревня горит. Людей нет, а стадо по селу гонят, скот повыгоняли.

Мужчин сначала по песку гоняли, потопили их, а потом уже загнали в гумно. Женщин гнали постепенно, пачками. А мужчин гоняли, чтоб ослабели они, чтобы не могли сопротивляться.

Жгли нас в сорок втором году, на провесне. Это эсэсовцы были. С черепами...»

У жены, Вольги Пилиповны, свой тон, своя всему окраска: очень живая, непосредственная у неё натура. Да, действительно, забыла она, тётка Вольга, своего мужика. И сама об этом говорит: увидела, что делается, а на руках – дети!.. Нет, она всё же крикнула мужу, мужчинам, и совсем не женскими словами: «Такие-сякие, что же вы сидите-лежите, немцы ж вон!..»

– А у меня ж двое детей, одно – на руку, и другое – на руку. Открыто скажу: и не гляжу на того мужика. Детей схватила – и про мужика забыла. А он пришёл да ругается...

А затем мы долго слушали Вольгу Андреевну Минич, трагедия которой в тот жуткий день в Хвойне только началась. Продолжалась она уже не в Хвойне и не один день.

Курин, Вежин, Октябрьский, Ковали, Затишье... Мученический шлях Вольги Минич и муки тех деревень сплелись в один клубок. Через всю пылающую Октябрьщину прошла, пробежала, проползла она, спасая дорогого ей человека.

Теперь этой женщине немногим за пятьдесят.

А было в своё время и двадцать один. Была она счастлива своим замужеством, ждала первенца. И всё было бы хорошо, нормально...

Было бы... Но была война, фашистская оккупация...

Женщина рассказывает.

Хозяйка хаты, тётка Репчик, которая вначале больше мешала, чем помогала своему медлительному «деду» Миколу рассказывать про тот мартовский день, а потом и сама, уже одна, спешила говорить, теперь молчит, полностью доверившись толковости младшей соседки.

Соседка говорит и, время от времени, не умолкая, плачет.

Хозяйка прошла тихонько за перегородку, в спальню, вернулась с чистеньким ручником и положила его соседке на подол.

«...Две колонны идёт в воскресенье: одна колонна, большущая, из Копцевич, а другая – из Лучиц. Эта колонна там, а эта – там, они сошлись, сговорились обо всём и стали идти в село. Поставили посты – прямо на десять метров один от другого. Всю деревню обставили. И тогда уже стали заходить в каждую хату.

И к нам зашли. Сколько нас было человек? У Микиты две девки, у нас... Восемь человек было в хате. И мы тогда тифом болели. Один только батяня поправился, так вот у стола сидел. Они уже как вошли, дак все мы лежали вповалку. Они говорят:

– Тиф? – Да на старика... Как это? Ага: – Цурик, цурик! Одевайся, выходи!..

Ещё он, бедный, собрался, пошёл. Наша крайняя хата была.

Видим: соседка моя, Владимировна Катя, вынесла дитятко грудное, а он ей говорит, немец:

– Неси назад дитя.

Принесла она и в люльку положила, а этих деток взяла с собой. Которые побольше, могли идти.

И все идут да идут наши люди... И уже никого нема людей, а только постовые стоят. А потом на подводах, возчики появились. Идут, открывают хаты, забирают, что там осталось в хате.

А мы с женщиной одной говорим:

– Выйдем за село, посмотрим, куда эти люди поделись...

Мы только начали идти, поднялись на горку, а уже люди там кричат и огонь появился. Человека три было в партизанах из Хвойни. Дак мы думали, что партизанские семьи жгут. Прошли мы дальше – не! Сильный вельми¹⁵ крик. Кричат люди так, что мы догадались...

Прибежала я в хату и говорю:

– Спасайся, кто как может! Всех людей уничтожают!..

Бегаем мы по хате – кто хворый, а кто так притворился – а выйти – никак: посты уже кругом. Никуда из хаты не денешься – стоит под самым окном. Видим мы, что уже и возчики скрылись, и идут к нам четыре мужчины – высокие, и кости на них прямо нарисованы. Как шли – так и в хату.

Свекровь моя, мужава мать, выбежала из хаты:

– Ой, паночки!..

Хотела попроситься, а они её под окном и застрелили. Из нагана. Мы увидели, что её застрелили, так и подались все сюда вот, в одну кучу. А было у нас два человека, что и не могли идти, из-за тифа. Сильно больные тифом, не могли даже встать. Мы всех их на одну подушку поставили.

А они зашли в хату:

– Тиф? Тиф?..

Тут же сразу повернули назад.

А тут уже подожгли нас. Бутылка какая-то чёрная. И не поджигали – облили и загорелось. Закрыли дверь, выбили окно и давай сюда гранаты бросать. Бросили одну, другую, третью...

¹⁵ Вельми – очень (бел.).

...Вот, соседка моя говорила, что как бросили в ихнюю хату гранату, дак они повскакивали босые и побежали... Они тоже в постели лежали. Дым же от гранаты этой, копоть. Как бросили четыре гранаты, дак она и побежала в этом дыму, успела крикнуть только:

– Детки мои золотые, кто куда, кто как может!..

И сама побежала, и дети побежали. По ним стреляли из пулемёта, а вот судьба им, видно, такая – остаться, потому и остались...

Ну, бросили нам гранаты через окно. И горит моё тело всё. Теперь позаживало, а тогда обгорела я много. Сначала граната первая Миките в голову. Подушки лежали, дак его этак подбросило – ноги вверх! А меня... во, осколком тута ранена. Вижу я, что где кто, побило кого, ранило, догорает уже... Господи!.. Я подтянула стол к окну, его на стол встянула, мужа, а после вылезла сама через окно. В хате, в огне – пока ты дойдёшь!.. Я не то что, дорогие мои, я не думала, что буду жить, я думала, что вытяну его на двор – скорее нас добьют. Вся же в огне, вся обгорела, раненая... И попадали мы тут около окна. А тогда, как я его вытащила, как раз выгоняли скотину нашу. Сарай зажгли, а скотину не побили, всю выгоняли. Отвязали они ту скотину, идут, видят: старуха лежит убитая, и мы лежим, обгорелое на нас всё...

Ещё одна выскочила, мужева сестра раненая, с горячки выскочила, и дошла перед окном.

И лежу я там, и не чувствую ничего, уже и память потеряла. На некоторое время и совсем отключилась. Началось у нас в деревне в десять часов, а к нам в хату они пришли в час, а проснулась я уже на закате солнца. Помнила, что я живая, поднялась, пошевелилась, посмотрела, что и он живой, а соседка наша как утекала, дак выкинула узелок. А мое всё погорело, всё погорело...

Одна девка в хате осталась, а стреха¹⁶ как сгорела, как осела, дак она только: «Ы-ы-ы!» – стонала там. Прохрипит. И опять... прохрипит... Долго доходила. Потому что она не ранена была. Долго хрипела, ей-богу. Уже вся хата обгорела, а она все хрипела...

Ну, я поднялась, поглядела, тут же два шага – и её хата. Взяла я тот соседкин узелок, развязала. Ну, мы ж голые. А я чувствую, что тут я ранена, тут у меня вырвало. Развязала я тот узелок, нашла ему штаны, из подтяжек сделала веревку и подвязала их, полотенце нашла, перевязала ему тут. А ему граната упала вот тут под коленки: и вены, и все ему тут поперервала, он никак не мог встать. Дак я возьму вот так на одну руку положу и на другую и так его тянула. Тянула я три километра его на себе. Протяну, остановлюсь, а потом и обессилела, не могла тянуть. И такие чувства были, хлопцы, и такие чувства! Чувствовала я, что они будут идти... Я в кустарник его, наломала веток, сняла с себя одежду, то одеяльца два разорвала, половину себе на голову, а другою его укрыла. А потом я ту половину одеяльца, что на мне, еще раз пополам разорвала, подстелила ему, положила и пошла.

«Ну, думаю, ещё километра два до отряда, доберусь туда, там дадут помощь».

Командир отряда был Михайловский...

Сани дали, запрягли коня. И Михайловский приказал мне:

– Садись. А если будут они продвигаться сюда, немцы, дак ты тогда с лошадей не удирай, бросай лошадь, а сама – в лес, чтоб не поймали тебя.

Я попросила, чтоб мне кого-нибудь дали: надо ж ехать под Хвойню.

Поехали мы, моего взяли... Сейчас же ему и матрац с печи горячей, и валенки. Я и сама голая была, оборванная вся, кровь течёт...

Положили его... Ну, я матрац тот развернула, положила его на сани и привезла туда, где отряд.

Вот был товарищ, спасибо ему!..

Мой ничем не владел. Не видели люди, дак думали, что он хоть как-нибудь помогал мне идти. Он приходил в память, приходил, ну, а когда на печку его положили, дак там какое-то

¹⁶ Стреха – крыша (бел.).

зерно лежало. Бедный, так и подплыло то зерно. До граммочка кровь выскочила, все жилы порвались. Дак он всё просил. Скажет два слова... Отключался всё время. Приходил в себя, говорил:

– Хлопцы, спасайте меня, я вашим братом буду!.. – Ну и что. Уже назавтра партизанский отряд доложил, что движутся немцы на эту деревню. Куда мне? Меня отправили, дали мне партизаны подводу... Не дали, а прямо приказали людям отвезти меня в Курин. Там был тоже отряд, и Лаптейка был, врач. Чтобы сделал моему перевязку, оказал помощь. Привезли меня туда, он посмотрел, говорит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.